

Леонид Зорин

ФИНАЛ 60-х

ЗАМОРОЗКИ наступали стремительно. Обанталье Сняжко и Данила Аркадий Васильев стали партером столичной писательской организации. Редакции устроили бдительность. Отдавая много в издательство рукописей, была вручена одному рецензенту, которого в «Советском писателе» подкармливали с определенной целью — его призвали для грязной работы.

Самой собой, «Монитор» был зарукоин с самыми грозными формулировками. Вслед за этим из номера «Театра», посвященного памяти Лобанова, были сняты мои воспоминания, а из списка поставленных им спектаклей выметены зловещие «Гости».

Странное дело! Концов моей прозы, которой я отдал почти три года, в которую было немало вложено, я встретил с непонятным спокойствием — должно быть, а вкнутренне был готов к такому естественному исходу и не питал особых надежд. А изъятие моего материала — вычеркнули, сущий пустяк — вычеркнули, упоминающие о постановках моих «Гостей» перенесли на другой листок, а на сей раз заделала кожа вдруг оказалась дырявой колготкой, решительно никуда не годной.

Суть была в том, что год от года Лобанов не только не растворялся в череде дел и забот, но занимал все больше места в моей душе, в моих размышлениях. Я не был возмущенным пленцом, которому все необычно и вновь, не был и чрезмерно чувствителен, жизнь заметно добавила жесткости, и все же влюбленность не умерляла — наоборот, росла и крепла. Образ и личность первопрототипа, переплавленного своего героя, выпавшего из этой климатической, человеческой и художественной, отечественной, во мне все резче. Я словно возмужал, а в своем сердце невидимую миру скульптуру, никто, никто из встреченных мною не покорил меня так безраздельно. Еще тогда, когда был он жив, я чувствовал, как от него исходит волнующий холодок бесмертия, я ощущал, что любая минута, прожитая с его присутствием, становится достоянием истории. И чем дальше отступал этот берег, на котором он остался навечно, тем ближе, тем роднее он был. И вот меня от него отторгли! Я испытывал боль, и обиду, все то, что должен испытывать сын, которого разлучают с отцом.

В таком состоянии, с ощущением, что я начал набрасывать сценарий про некоего знаменитого футболиста, заканчивающего футбольную жизнь. Снова, как в те проклятые дни после прощания с «Гостями», в часы смуты и неуверенности, я по-анталье припадал к траве и дерну зеленого поля. На сей раз, однако, писало трудно, и речь тут не о естественных сложностях, связанных с поиском верных решений. Было бы несправедливо сказать, что я не испытывал вкуса к работе. Мысленная реанимация юности — всегда волнующая игра — лет через шесть, когда я займусь своими «Покровскими воротами», я награжу себя в полном мере. Мой Ромин, впервые возникший в прозе, перекладывая в эту комедию, потом оживает в «Прошломном марше». И будет мне печаль моя в радость. Но в летние дни 68-го в любимой Юрмале я с усилием сосредоточивался над бумагой. Все, что пришло и что сгустилось в спертom политическом воздухе, вихрь событий «пражской весны», настраивало на мрачный лад. В тот день, когда дубчековский командный объявила об отмене цензуры, я понял, что дело добром не кончится.

Ибо тот лагерь (или зона), в который входила Чехословакия, не был способен существовать при открытом выражении мыслей. Над этим хрупким ростком надежды сразу нависла тень обреченности. Никогда уверенность в преданности, умение вложить в Москву не могли. Уже сама знаменитая формула о новой модели социализма, так сказать, «с человеческим лицом», воспринималась нервно и злобно, как замаскированное оскорбление. Стало быть, наш социализм являет лишь звериный оскаль. На это ни в Праге, ни в Братиславе никто не рискнул бы ответить по чести, хотя было совершенно понятно, что именно так обстоит дело.

Считали они, что в самом деле спасают будущую социализма? Может быть, кто-то из них в это верил. Я слышал и в московских квартирах, что, раз дав идеальное, мы упустили последний шанс в соревновании двух систем. Не думаю, что был этот шанс, что социальный эдем достижим, что наш жизнепорядок мог выжить. Бесспорно он мог бы продлить свой век, если бы не разумы и глупе, но что такое десятилетие, даже и три десятка лет, для богатейшего бегства времени?

Соблазн и сила социализма в его исторической ставке на массу, в его биологической нежности — на уровне родового инстинкта — к сильному личному началу, к божьей искре, к индивидуальности. В его философии много лестного для охлократического большинства, для милленической «сплоченной посредственности». И эта апология массы вербует социализм сторонников.

Слабость социализма — все в том же, в основе всякой несправедливости, вражда к состязанию.

Глава из книги «Записки драматурга», отрывок из которой мы предлагаем читателям, полностью будет напечатан в журнале «Современная драматургия».

от ожиданий, от счастья творчества! Вот так, три десятка лет назад, эта янтарная земля, мой верный приют, мое убежище, где я сейчас укрылся от ночи, была захвачена и пленена той же нерассуждающей силой.

В таком состоянии пребывало великое множество соотечественников. Но, верно, не меньше было и тех, кто ощущал зловещую радость: «Таким, неблагоприятным, и надо! Мы их бережем, защищаем, мы им оказываем поддержку, они же от нас воротят нос! Капитализм им захотелось!».

То, что великая страна с великой историей и культурой вдруг попадает под власть ничтожества и остается под этой властью на протяжении десятилетий, не может быть случайной трагедией или трагической случайностью. Это расплата за веру в идею или даже за веру в соблазн генетической элитарности. В какие только страшные бездны не заводила несчастных людей вся эта роковая путаница, когда они равняются перед законом автоматически распространялись на равенство перед природой. В конечном счете социализм блестяще доказывает тот факт, что идея вырастает из чувства. В основе, в начале данной идеи — страстная, неутолимая жажда.

Можно сочувственно усмехнуться над прекраснейшим реформатором в эпоху так называемых коммунизма. Но разве он не понимал, что, словно дети, шалит с огнем? Да и какие малы были иллюзии, хотя бы после процесса Сласского, после поверженного Будапешта? «Меня не любил, но люблю я. Так берегись любви моею». Однако и политики — люди, однажды становится немощью, нечем дышать, вопреки расудку высказывавшееся стекло в окне, чтобы глотнуть хоть кубика озона.

И все же при всех моих предостережениях, предупреждениях, ожиданиях взрыва вторжения казалось немыслимым. Можно ли было не брать в расчет покостные глобальные последствия? Как многие, я упустил из виду, что единственная цель диктатуры — самосохранение, и попытка самосохранения — это угроза, когда я уступаешь о совершившемся, мне показало, что на меня вдруг рухнуло поверженное небо.

Настала пора беды и позора. Вечерами мы сидели с Андреем на маленькой дощатой террасе и слушали разрозненный мир, посылавший в эфир сигналы бедствия. Помню крик пражского диктора: «Жене Ештунешко, не молчи!». Снова, почти через тридцать лет, после того, как солдаты фюрера при великой сдержанности планеты вошли в беззащитную столицу, вновь корчилась распятая Прага. Время от времени мальчик шептал: «Это ужасно... это ужасно...». А перед моими глазами вновь струились старые улицы, текла несущаяся мирная жизнь, устоявшаяся за столько столетий, хранящая свой вкус и свой цвет, свою отчетливо слышную музыку. Я представлял себе лица друзей, потухшие, горестные глаза, сжатые губы, упавшие руки.

Всего отвратительней и бесстыдней была наша славная пропаганда. Трудно забыть идилический тон, сопровождавший движение войск. «Вот наконец и Злата Прага...» — вот наконец, усталые путники, вы завершили долгое странствие, входите в гостеприимный дом, вас ждут с нетерпением и любовью. Невыносимо было читать эти лживые, липкие строки, стоило ли отдать свою жизнь поиску слов, если эти слова могут так праздно лгать и лизать? Еще страшнее было встречать в хоре всемирной поддержки давно знакомые имена.

В теплые полдень кучка людей, несколько женщин и мужчин, вышли на Красную площадь с плакатами, спасая честь своего Отечества. Мир должен был все-таки убедиться: в этой безжалостной сверхдержаве еще существуют и совесть, и честь. Их возглавлял Павел Литвинов. Все они были жестоко избиты и тут же с заломленными руками увезены по известному адресу под брань улюлюкающей толпы. И в памяти моей сразу ожил прощальный вечер у Великолепной, милая тихая Флора Литвинова, рассказывающая свой страшный сон о арест пятимесячного ребенка, которого увозят от матери. Вот он и обратился в явь.

Я ЗАСТАВЛЯЛ себя трудиться, то было единственной возможностью хотя бы немного переключиться, спасением от сарепной тоски. Шагая по балтийскому берегу, я все не устался себя спрашивать: что же это происходит на свете? Несколько тупых стариков, злобных, невежественных, надутых, уверенных в том, что им дано определять, как жить, как мыслить, как чувствовать — людям, народам, странам. Они уверены в том, что могут бросить под гусеницы и броню естественное право на дышанье. И что остается от всех надежд,

необходимо и без сюрпризов.

Какому бы хитрому осклопению ни подвергался элоспастический «Дион», сколько бы его ни марили, то, что осталось и произносилось, все еще продолжало кусаться. С этой комедией происходило, можно сказать, нечто мистическое. Ибо родимая сверхдержава в своем наступательном движении делала ее все злободневней. То и дело складывалось впечатление, что автор ее сочинил этой ночью, театр же за день отретировал, чтоб в тот же вечер представить публике. При всех неожиданных поворотах античный сюжет умудрялся вписываться в нашу сегоднешнюю жизнь.

И прошлый сезон принес на чашу непредусмотренные отсечения — после войны на Ближнем Востоке зал с недружелюбным чувством принимал меланхолические реплики, которые ронял Бен-Захари, ученый еврей при прокураторе. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в зале теперь. Ограничусь хоть таким соображением. Узнав от Сергия, что на помощь Луцию в Рим поспешают полчища варваров, Дион не тайт своего потрясения: «Значит, и варвары сюда идут». Сергий вальяжно его успокаивает: «Временно, до стабилизации положения».

Мог ли я знать, когда писал эти строки, тогда, четыре года назад, что будет театру, что почти слово в слово: «Временно, до стабилизации положения» — была тогда у всех на слуху. Легионы, как реагировал зрительный зал на слова Сергия. Казалось, от хохота рухнут стены.

Столь же страстной была реакция публики и на спектаклях «Варшавской мелодии» — но тут уже никто не смеялся, слышались вскрики, мелькали слезы. После финала ко мне подошли с горькими исповеданиями и рассказами. Помню одного парня — трудно подобрать слова, он говорил мне о чешской невесте, которую от него отвергнул. Помедля, протянул фотографию задумчивой молодой девушки, которую больше утратил, чем приобрел. В провинции скромному литератору гораздо легче держать дистанцию между собой и системой. В столице контакты с нею болезненны, и дорожно не обошлось стремление всемерно стать москвичом. У этого отторжения от Юга одно оправдание — мое отцовство.

Однанадцатого октября вышедшие на Красную площадь услышали вердикт правосудия — двоим предстояло отправиться в лагерь, всем остальным — в многолетнюю ссылку. Пресса была немногословна, откликнулась лишь «Московская правда» статьей какого-то Бардина. Заголовком — «В расчете на сенсацию» — дышал презрением к осужденным. Автор — по-видимому, моралист — давал им суровые характеристики: все они, как один, «вели паразитический образ жизни», к тому же «развратничали и пьянствовали».

Слово — испытанное оружие. Не всякое действие может поспорить с его сокрушительной эффективностью. Но грязное, продажное слово всегда обогатывается против тех, кому оно так истошно служит. Никто не нанес советской власти такого разительного ущерба, как наша репрессивная печать. С ее бесстыдством могла сравниться разве только ее бездарность. Каждое ее выступление во славу правящего режима увеличивало число его недругов. Можно с уверенностью сказать: история пропаганды не знает столь оглушительного провала.

Всю осень Рубен Симонов прилагал человеческие усилия, чтоб получить «Коронацию» визу. Упадок сил был все очевидней, но жар художника не сдулся, и, может быть, потому так преданно любила его молодая женщина. Он знал, как все фанатики творчества, что лишь работа продлит его срок, и рвался к ней с нетерпением юности. Измучившись из-за нас Савателло, старался посылить смягчить ситуацию, но это давалось ей нелегко. Песю читали и перепечатавали — редакторы, рецензенты, начальники, потом министр и все заместители. Песня сердилась и раздражала, в главном герое бурлила враждебность к тому всевластному протоколу, который разметил всю нашу жизнь. Его желание «выйти из круга» воспринималось как некий вызов, как тайное самоотторжение от ритуального бытия. Близость уходя, вполне осознанная, стала не слабостью и не сдачей, наоборот — той высшей силой, которую давал независимости. Смерть, стоящая за порогом, оказалась освобождением. Не нужно больше ни ждать унижений, ни примиряться, ни примиряться, не нужно лукавить, не страшно нет лица. Я убежден, что Рубен Николаевич в эти свои последние дни чувствовал себя провинциалом в столице, в нервном ускорении жизни — было насилие над собой. Спусти двадцать лет я очень мало напоминаю того человека, который шагнул по темной площадке, распахнутой по тем Курским вокзалом. Я мог перебрать свои козыри — есть дом, есть профессия, есть друзья, но ведь себя не уговоришь — я сознавал достаточно ясно, больше утратил, чем приобрел. В провинции скромному литератору гораздо легче держать дистанцию между собой и системой. В столице контакты с нею болезненны, и дорожно не обошлось стремление всемерно стать москвичом. У этого отторжения от Юга одно оправдание — мое отцовство.

Однанадцатого октября вышедшие на Красную площадь услышали вердикт правосудия — двоим предстояло отправиться в лагерь, всем остальным — в многолетнюю ссылку. Пресса была немногословна, откликнулась лишь «Московская правда» статьей какого-то Бардина. Заголовком — «В расчете на сенсацию» — дышал презрением к осужденным. Автор — по-видимому, моралист — давал им суровые характеристики: все они, как один, «вели паразитический образ жизни», к тому же «развратничали и пьянствовали».

Слово — испытанное оружие. Не всякое действие может поспорить с его сокрушительной эффективностью. Но грязное, продажное слово всегда обогатывается против тех, кому оно так истошно служит. Никто не нанес советской власти такого разительного ущерба, как наша репрессивная печать. С ее бесстыдством могла сравниться разве только ее бездарность. Каждое ее выступление во славу правящего режима увеличивало число его недругов. Можно с уверенностью сказать: история пропаганды не знает столь оглушительного провала.

Всю осень Рубен Симонов прилагал человеческие усилия, чтоб получить «Коронацию» визу. Упадок сил был все очевидней, но жар художника не сдулся, и, может быть, потому так преданно любила его молодая женщина. Он знал, как все фанатики творчества, что лишь работа продлит его срок, и рвался к ней с нетерпением юности. Измучившись из-за нас Савателло, старался посылить смягчить ситуацию, но это давалось ей нелегко. Песю читали и перепечатавали — редакторы, рецензенты, начальники, потом министр и все заместители. Песня сердилась и раздражала, в главном герое бурлила враждебность к тому всевластному протоколу, который разметил всю нашу жизнь. Его желание «выйти из круга» воспринималось как некий вызов, как тайное самоотторжение от ритуального бытия. Близость уходя, вполне осознанная, стала не слабостью и не сдачей, наоборот — той высшей силой, которую давал независимости. Смерть, стоящая за порогом, оказалась освобождением. Не нужно больше ни ждать унижений, ни примиряться, ни примиряться, не нужно лукавить, не страшно нет лица. Я убежден, что Рубен Николаевич в эти свои последние дни чувствовал себя провинциалом в столице, в нервном ускорении жизни — было насилие над собой. Спусти двадцать лет я очень мало напоминаю того человека, который шагнул по темной площадке, распахнутой по тем Курским вокзалом. Я мог перебрать свои козыри — есть дом, есть профессия, есть друзья, но ведь себя не уговоришь — я сознавал достаточно ясно, больше утратил, чем приобрел. В провинции скромному литератору гораздо легче держать дистанцию между собой и системой. В столице контакты с нею болезненны, и дорожно не обошлось стремление всемерно стать москвичом. У этого отторжения от Юга одно оправдание — мое отцовство.

Однанадцатого октября вышедшие на Красную площадь услышали вердикт правосудия — двоим предстояло отправиться в лагерь, всем остальным — в многолетнюю ссылку. Пресса была немногословна, откликнулась лишь «Московская правда» статьей какого-то Бардина. Заголовком — «В расчете на сенсацию» — дышал презрением к осужденным. Автор — по-видимому, моралист — давал им суровые характеристики: все они, как один, «вели паразитический образ жизни», к тому же «развратничали и пьянствовали».

готовился к репетициям. Снова и снова он повторял: «Если у меня два раза стрелитесь, третьей встрече не миную».

Третья встреча не состоялась. Утром 5 декабря мне позвонил Олег Иванов* и сообщил, что Симонов умер.

Я долго не мог прийти в себя. Я понял, что успел полюбить это прелестное существо. Природа хорошо постаралась! О вечной мрачности юмористов уже надоело упоминать — на этот раз веселый талант достался веселому человеку. На этот раз пражский художник творил артист, воспринимавший каждое мгновение жизни, как шедевр и крик ее подорож. Его лукавство и политичность жили в ладу с его простодушием, его опытный удивительным образом совмещался с неистребимой детскостью. Поистине он был рожден для театра, для вахтанговского театра, который, как волшебный фонарик, сиял многоцветьем в темную ночь. Да, впрочем, он сам был целым театром — стоило на него взглянуть, и ты подпадал под магию зрелища — легкого, радостного и трогательного. Видеть его — уже означало переместиться из будней в праздник. Он был невысок, но так соразмерен! Его голова прекрасной лепки высилась как серебряный купол, его глаза — никогда не тусклевые, глядели молодо и свежо. В нем пала музыка, вся его пластика была певучей и полной грации. Вот он сидит у барьера лож, белый манжет на алом бархате, черная бабочка чуть трепещет на снеговой альпийской сорочке. Он смотрит поставленный им спектакль, смотрит, как зритель, как дитя, впервые попавшее в этот мир, — только что лошара сверкала над залом, и вот в ней медленно гаснут лампочки, и также медленно, неторопливо, торжественно освещается сцена, на ней появляются странные люди, и жизнь превращается в привычную. Какие краски, какие звуки, какая незамысловатая радость! «О, если бы вечно так было!». Но праздник окончен, огни уже тухнут, все завершилось, пора ко сну.

В тот час, когда его хоронили, в тридцатиградусный мороз, когда нехотая дробилась под заступающими неподатливая земля и в мерзлой яме скрывался гроб с телом, что всего еще три дня назад было Симоновым, Рубеном Симоновым, я поймал себя на кощунственной мысли: «А может быть, и на этот раз ему улыбнулась его фортуна? Он уходит, не дожив полугода до рубежных семидесяти лет, уходит любящий и любимый. Уходит на вздохе, а не на выдохе, на взмахе, готовый опять взлететь, в счастливые горизонты нового замаячил. Он увернулся, он ускользнул от унизительных дней доживания, он спасся от немощи и беспомощности. Подобно тому, как в нем самом была эстетическая законность, и жизнь его обрела такую же вполне художественную завершенность. Это прекрасное творение не перечеркнуто черной кляксой».

Евгений Симонов мне рассказал, что смерть застала его отца за распределением ролей в «Коронации». «Эта песня мне им завещана», — сказал Евгений, — «и его юбилей мы непременно ее сыграем». Он добавил, что знает и ощущает — нынче и я осырел и общее горе нас побратало.

Помню, как я торопил тот декабрь — скорей бы пролетел этот месяц, скорей бы отключился этот год. Даже сентиментальная дата — десятилетие «доброе» — не разогнала унылых мыслей. С грустью смотрел я любимым спектаклем — мой посрамленный Кабанчик в жизни торжествовал победу, угрожающе поигрывал мускулами. И тысячу маленьких кабанчиков чокались в новогоднюю ночь, лоснясь от зловещего самодовольства. «Пусть нас не любят, пусть нас боятся». Смеясь, они поздравляли друг друга. И жизнь по закону Калигулы, о ком они и слышать не слыхивали, несла эту недолюбливаемую силу к новым триумфам, к новому счастью.

Почти сразу после январских каникул Евгений приступил к репетициям, а я уехал писать комедию. Мне захотелось сделать смешным и по возможности даже веселым, в сущности, невеселый сюжет. История о вечном большинстве, который только в своих мечтах видит себя таким же деятельным, умелым и мужественным, как его идолы, уже давно меня занимала. Сейчас, разогретый своим сценарием о мастере кожаного мяча, памятуя о футбольной юности, я захотел рассказать о душе, пронзенной драмой несоответствия. И, несмотря на избитый жанр, я вовсе не думал над ней смеяться. Мой Казимиров рождал во мне только сочувствие и участие.

Разве же все мы не казимириры? Разве любому из нас не мерещится нечто заветное, милое с детства? Кому — спортивное совершенство, кому — карьера, кому — любовь. Я наделил своего героя буйной фантазией, пусть ему кажется, что стоит лишь сесть на мотоцикл, подставить лицо свое ветру движения, и все, что в нем дремлет, томится, копится — богатство, неведомое никому, — все выльется, станет вдруг очевидным и для города, и для мира. Пусть он то и дело смеется, я ощущал к нему уважение — среди великого множества мифов, которые нас окружают с рождения, най-

дется место и той легенде. В конце концов сама наша жизнь естественно входит в их число. Каждый сражается с повседневностью так, как хочет, и так, как может.

В Москву я вернулся в начале марта, вахтанговцы усердно трудились, готовясь выпустить «Коронацию» не позднее, чем через месяц. Было ясно, что к юбилею Симонова они не поспеют, но настроение было, как говорится, рабочее — дело славилось, сулило удачу. Мешали только дурные вести, слетающиеся из вышних сфер.

Я очень скоро прочел им комедию — прием был сдержанным, оценен возмужно, что песня не произвела впечатления, выяснилось, что она велика, явно нуждается в сокращении. (Что я и сделал в ближайшие дни). И все же суть была не в длинноте. Я с болью открыл, что мои вахтанговцы устали от своего драматурга. Их можно было легко понять — слишком много переживания, да и в том, что предстоит с «Коронацией», никто, конечно же, не обманывался.

Грустно. Но ничего не поделаешь. Видимо, творческие союзы, особенно между театром и автором, имеют свой лимит отношений. Истинные чувствительные сердца должны опираться на трезвость и мужество.

Чем более я в «Мотоцикле» верил — его мелодия мне была дорога. Андрей сказал мне, что эта песня «про чудный сон и право души на забвение окружающей жизни» — в его двенадцатой с половиной лет эта формула была особенно веской. Впрочем, я уж призывал, что с ним не соскучишься.

Я решил прочесть «Мотоцикл» Плутучку, и выбор мой оказался точным. Читалось легко, без напряжения. Мой голос оказался отменным слушателем, с лета воспринял и суть, и звук. (И речи нет — это мое. Мы сразу приступаем к работе. Возможно, что для Плутучки сатира была нахождением. Существование театра с таким названием само по себе было по всем статьям неуместно. На протяжении десятилетия сатира могла квалифицироваться лишь как государственная измена. Естественно, в обществе лицемерия мог быть учрежден и Театр сатиры — в самом деле, назывался же монстр, внушавший всем лишь ужас и страх, как раз Комитетом безопасности).

Но если «министерство любви» (вспомним оруэлловский шедевр) действует тайно и бесконтрольно, то театр невозможен без зрителей, он должен еще выпускать спектакли. Плутучек, беспартийный самит, решил все эти долгие годы одну и ту же головоломку — как же оправдать свою вывеску. Он ставил комедии Маяковского (надо сказать, с большим успехом) и комедии Мухоморова, ставил отечественных классиков, благонамеренных иноземцев из нашего лагеря, современные действия, которые я затрудняюсь вспомнить. Дважды он дерзнул и обжегся — сначала выпустил пьесу Хикмета «А был ли Иван Иванович?», позже, после длинных пауз — поэму Александра Твардовского (говорю о «Теркине на том свете»). То были две доблестные работы — обе были запрещены.

«Мотоцикл» пришелся ему по душе, в этом не было никаких сомнений, да и дело выглядело безнадзорным — герой, который мог вызвать смех, ни в какой мере не представлял ни государственной машины, ни государственной идеологии, выламывался из той и другой. Но именно эта его неспособность вписаться в советскую действительность была прочитана в первую очередь — в этом нам вскоре пришлось убедиться.

Не для того, чтобы подчеркнуть свои прогностические возможности, скажу, что особого оптимизма судьба «Мотоцикла» мне не внушала. Я гнал от себя невеселые мысли, никак не хотел себе признавать, что все мои предчувствия скорбны. Но эти страусовы попытки дарили небольшое успокоение — ха-ха, трезвости ощущать идущую из кремлевских сфер победоносческую готовность покурить «подморозить» страну. Все меньше было сил хорохориться. На утро следующего дня после того, как в Театре сатиры прошло успешное чтение пьесы, мне позвонил удрученный Плутучек. «Знаешь», — сказал он, — всю эту ночь твоё убитое лицо мне просто не давало заснуть. Да я и сам отлучился радоваться. Господи милостивый, что с нами сделали! Вместо того, чтоб хмелеть от счастья, готовясь к новой работе, как к празднику, думаешь лишь о том, что нас ждет. О всякой мышленной возне, всякой восторженности. И сам испытываешь скандальное чувство. И первым из них было чувство вины. Всем от меня одно только горе — Лобанов, Товстоногов, Симонов, Завладомо, Лову и Наумову. Даже победоносный Рязанов не уберется от этой напасти.

Чувство это замутнилось вновь с особой режущей остротой в симоновский юбилейный день — второго апреля театр отметил семидесятилетие своего лидера, которого только что сгорел, прошло всего лишь четыре месяца. Театр еще полон, сиял и пенился, еще один вахтанговский праздник — но где та скульптурная голова в знаковой ложе у края сцены, где белый манжет на красном бархате?.

* О. К. Иванов, директор Театра имени Евг. Вахтангова. — РЕД.



Поэтическое восприятие сложной и драматической любви, преодолевшей границы государства и испытание временем, выразил режиссер Театра имени Евг. Вахтангова Р. Симонов в постановке пьесы Л. Зорина «Варшавская мелодия» с участием Ю. Борисовой и М. Ульянова (1967 г.).